

Татьяна Борисова

Stephen Lovell. How Russia Learned to Talk: A History of Public Speaking in the Stenographic Age, 1860–1930. Oxford: Oxford University Press, 2020. 327 pp. ISBN 9780199546428.

Татьяна Борисова, департамент истории, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Адрес для переписки: НИУ ВШЭ, ул. Союза Печатников, 16, Санкт-Петербург, 190008, Россия. tborisova@hse.ru.

Монография известного британского историка-русиста Стивена Ловелла обращает внимание на интересный парадокс российской истории XIX–XX веков – подозрительное отношение к публичному слову как к «говорильне» в условиях стремительно развивающейся публичной сферы, аргументирующей устную публичную дискуссию. Как объяснить это явление? С одной стороны, как замечает историк, его можно объяснить высоким авторитетом письменной культуры и особенно русской литературы XIX века как движущей силы публичной сферы в России. Такое объяснение можно найти у Гоголя, писавшего, что пока «речистые говоруны» парламентского типа не овладели мыслями россиян, те созревали для чтения вслух и слушания. С другой стороны, как показывает Дмитрий Калугин в своей полемической статье, сама письменная культура утверждала прежде всего монологичное выступление в формате «я памятник себе воздвиг нерукотворный» вне спора и открытой дискуссии (Калугин 2017) (вспомним сетования Чернышевского в «Современнике» о том, что журналов развелось слишком много и нужно сократить их количество до одного-двух по каждой определенной тематике).

Не вступая в дискуссию с исследователями публичной сферы в России, Ловелл обобщает интересный фактический материал о заметной роли публичного слова, начиная с Великих реформ Александра II до ГУЛАГа, и предоставляет богатую пищу для размышлений. Показывая, как функционировала публичная речь, монография выявляет эту заметную и значимую сферу общественной жизни и дает повод переосмыслить сформулированную историками проблему «синдрома общественной немоты» (Вахтин и Фирсов 2017) или «несовершенной публичной сферы» как специфического «национального режима» российской публичной сферы (Атнашев, Велижев и Вайзер 2021:50–51)¹.

В этой книге, как и в более ранней монографии по истории радио (Lovell 2015), Ловелл делает оригинальный акцент на значении технологий для развития культуры публичной речи. Во введении он ссылается на теорию второй устности (secondary orality) Уолтера Онга, который развивает тезис Маршалла Маклюэна о том, как печатное слово меняло социально-политическую структуру общества. По Онгу, технологии трансляции устного слова в связи с распространением радио

¹ См. интересную критику приложения теории Юргена Хабермаса к исследованию небуржуазной публичной сферы в России в: Акельев 2021:785–814.

(а позже телевидения) кардинально изменили устную жизнь людей в XX веке. Ловелл считает, что схожий эффект имело стремительное распространение в XIX веке газет. Они обрушили на человека большие потоки новой информации, которые существенно изменили представления о возможном и желаемом, что в свою очередь вызвало перемены и в речи людей. Кроме того, именно из принятого в XIX веке эмпатического модуса газетной речи мы «можем рассказать историю устной речи в имперской России», которую всячески пытались передать и классики русской литературы (Иван Тургенев, Лев Толстой, Николай Лесков), и заштатные репортеры местных газет (с. 13).

Историю публичной речи Ловелл начинает с периода гласности Великих реформ. Его символической вехой можно назвать манифест об освобождении крестьян от 19 февраля 1861 года, написанный митрополитом Филаретом высоким слогом христианского благочестия. Издательское название этого документа современниками – «Филькина грамота», которое, впрочем, не вспоминает Ловелл, – подчеркивает несовпадение риторических режимов самопонимания власти и общества. Для Ловелла этот манифест выступает как веха расхождения конечных целей инструментального подхода к гласности самодержца и общественности. Если образованный класс воспринял ослабление цензуры и введение начал публичности как шаг в сторону политических прав, то Александр II видел в них лишь возможность для более эффективного управления большой империей.

Взяв за начальную точку гласность периода Великих реформ, когда существенные изменения условий публичной речи способствовали увеличению ее разнообразия, пять из семи глав своей монографии Ловелл посвящает именно имперскому периоду. Такой выбор, кажется, продиктован явным перекосом историографии в сторону исследования советской публичности. В отличие от серьезного научного исследования «говорения по-большевистски» в разные периоды советской истории – с классическими работами Стивена Коткина, Анны Крыловой, Игала Халфина, Олега Хархордина, Алексея Юрчака и интересными дискуссиями, публичная речь имперского периода как интереснейшее историческое явление еще не получила должного внимания исследователей. Поэтому с точки зрения новизны посвященная дореволюционному периоду часть монографии представляет особый интерес, и я сосредоточусь в большей степени на ней.

В позднеимперском периоде Ловелл выделяет несколько ключевых моментов в истории развития публичной речи: конец 1860-х годов (окончание первой волны гласности), 1881 год (убийство Александра II и последовавшие за ним репрессии) и середина 1890-х (появление новой энергичной и воинственной «общественности»). Последующие революции 1905 и 1917 годов тоже представляют собой моменты «громких разрывов» (с. 19). Соглашаясь с риториками XIX века в разделении ораторского искусства на три основные категории – политическое (или протополитическое), церковное и юридическое, – Ловелл указывает, что все они имели свои траектории развития, неочевидным образом связанные с общими вехами его периодизации.

В первой главе о гласности 1860-х годов Ловелл делает вывод о том, что эта гласность имела скорее дисциплинарные и полицейские цели. Стенографические отчеты о публичных мероприятиях в архиве Министерства внутренних дел (МВД), кажется, говорят именно об этом. Но, конечно же, нужно иметь в виду «призму» того или иного архива. Есть большой соблазн увидеть в отложившихся в архиве МВД документах торжество полицейского надзора во всех сферах жизни. В пользу «полицейских» целей, с которыми заводилась гласность, кажется, могут говорить бесконечные запреты и ограничения публичной дискуссии. Складывалась раздражавшая современников ситуация: когда одни законы утверждали гласность, другие урезали ее. Как показывает Ловелл, эта тенденция со все большим перекосом в сторону запретов сохранялась и впоследствии.

Вторая глава посвящена процессу стагнации гласности в период долгих 1870-х – с 1867-го до 1881-го. С первого покушения на Александра в 1866 году до его убийства в 1881 году энтузиазм по поводу силы публичной речи стал остывать, а страх властей перед опасными словами, наоборот, вырос. Застой охватил все разрешенные сферы общественной жизни, такие как театр и земства, но способствовал появлению новых религиозных течений и радикальных групп, проповедовавших свои идеи. Борьба за их распространение за пределы городов стала знаковой чертой этого времени. Состязательный, открытый для публики суд превратился не только в арену для упражнений в судебном красноречии, но и в источник информации о новациях русской жизни для всей страны благодаря публикации в газетах материалов громких процессов. События на Балканах во второй половине 1870-х годов и подъем патриотического движения вызвали новую волну мобилизации публичной речи.

Следующая глава посвящена эпохе контрреформ 1881–1895 годов. Открытый процесс над убийцами Александра II удивил многих современников тем, с какой уверенностью подсудимые, особенно народоволец Андрей Желябов, давали показания и разъясняли свои убеждения. Газеты по-прежнему публиковали репортажи с политических процессов, теперь уже цензурированные, но все так же будоражащие публику и вдохновляющие молодежь на продолжение борьбы. Поэтому в 1882 году был введен запрет на печать и распространение материалов политических процессов. Он действовал до 1904 года. В целом публичная речь стала гораздо более рискованной в связи с охранительным курсом правительства. Особый интерес в этой главе вызывает раздел, в котором автор пишет о влиянии на ситуацию в Российской империи модуса парламентаризма, получившего мощный толчок к развитию в континентальной Европе и на Балканах в 1860–1870-е годы (с. 121–124). Сербская конституция 1869 года и вполне работоспособный парламент этого, как тогда писали, «братского народа» были вдохновляющим примером для передовых россиян, даже если они не выезжали из России. Благодаря подробному освещению иностранных парламентских дебатов в русской печати им были известны все самые современные приемы политического красноречия.

Четвертая и пятая главы рассказывают о том, как публичная речь становится все более важным средством выражения политической позиции, постепенно перерастая в «политическую какофонию». Как и в остальных главах, повествование

оживляют краткие биографические очерки наиболее заметных ораторов и их фотографии. Обращает на себя внимание раздел о значении дебатов в Государственной Думе и о роли технологий, которые, к большому раздражению императора Николая II, позволяли выносить на широкое обсуждение все то, что было сказано в стенах Таврического дворца (с. 177–183). Приведенные в пятой главе отрывки из воспоминаний некоторых членов разных созывов Государственной Думы (критерии их отбора не прояснены) тенденциозны, как это обычно и бывает с воспоминаниями, но их уничижительная оценка парламентских реалий в Думе не мешает прийти к выводу о том, что Дума «служила эффективным средством политической коммуникации» (с. 234).

Заключительные главы и эпилог посвящены советскому периоду. История публичной речи в это время написана очень живо, как тесно переплетенные истории отдельных деятелей, в том числе, на первый взгляд, не связанных друг с другом (как, например, будущий глава Временного правительства Александр Керенский и философ Федор Степун). Приведенные источники показывают, что теперь частью политической борьбы являлась не только борьба за слушателя, но и борьба за то, кто и как будет оценивать реакцию слушателей и говорить от имени слушающего народа.

Информативная и интересная книга Ловелла демонстрирует ряд возможностей для дальнейшего изучения публичной речи и публичной сферы. В частности, теперь эту хорошо написанную англоязычную историю публичного слова в России 1860–1930-х годов можно будет включить в сравнительную и глобальную историю публичных практик. При этом было бы правильно отказаться от трюизмов европоцентричной модели. Кажется, уже недостаточно говорить о том, что прекрасно исследованный «золотой стандарт» (с. 15) публичной речи в государствах с сильной республиканской традицией и просвещенческой повесткой не был достигнут в «нелиберальных» государствах. Схематическое деление на «либеральное» и «нелиберальное», «демократическое» и «недемократическое», к сожалению, выглядит как дежурное тэгирование, не имеющее смысла: «*glasnost*’ (albeit illiberal), participation (albeit undemocratic)» (с. 29).

Читая Ловелла, можно обратить внимание на ранее не занимавший исследователей аспект противоречивости реализации самоуправления в России – довольно резко критику в печати публичной деятельности институтов самоуправления. Соперничество печатного и устного слова, о котором рассказывается в рецензируемой книге, кажется, является важной частью истории российской публичной сферы. Сам Ловелл, избрав для своей книги в качестве основного вопроса вопрос «как?», не позволяет себе углубляться в детали и заострять свои наблюдения. Тем не менее собранные им факты позволяют предположить, что претензии печати и литераторов на формирование государственной повестки примечательным образом заставляли газеты принижать значение публичных представительных форм участия подданных в управлении. Получается, что становилось важно не *кто*, *о чем*, *где* и *как говорил(и)* и *что решил(и)*, но *кто*, *что* и *где опубликовал* о говорившемся – в поздней имперской России, а также *куда написал* – в советской. Кажется, об этой карательной роли писаного/печатного слова в отношении слова живого писала Марина Цветаева в стихотворении «Читатели газет» 1935 года.

Газет – читай: клевет,
Газет – читай: растрат.
Что ни столбец – навет,
Что ни абзац – отврат...
О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!
...
Уж лучше на погост, –
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет!

Доминирование печатного слова, его позиция старшего и откровенная воинственность по отношению к слову устному подрывали республиканский этос общего дела в представительных учреждениях и, наверное, в головах читателей газет. Такой вывод можно сделать из богатого фактического материала книги. Представленный в ней подробный ответ на вопрос «Как Россия училась говорить публично?» позволяет поставить новые вопросы. Нужно рассмотреть в долгосрочной перспективе, заданной Ловеллом, почему и зачем она именно так училась публично говорить. Помимо этого, продолжая пересмотр утверждений о «публичной немоте», важно исследовать репертуары противостояния публичному молчанию на животрепещущие темы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Акельев, Евгений. 2021. «Режимы публичности и верховная власть в Московском царстве и Российской империи». *Cahiers du monde russe* 62(4):785–814. <https://doi.org/10.4000/monderusse.13015>.
- Вайзер, Татьяна, Тимур Атнашев и Михаил Велижев, ред. 2021. *Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России*. М.: Новое литературное обозрение.
- Вахтин, Николай и Борис Фирсов, ред. 2017. «Синдром публичной немоты». *История и современные практики публичных дебатов в России*. М.: Новое литературное обозрение.
- Калугин, Дмитрий. 2017. «“Много спрашася, не обретоша истинны”, или Поэтика коммуникации власти и общества в России древней и новой». С. 47–91 в «Синдром публичной немоты»: *история и современные практики публичных дебатов в России*, под ред. Николая Вахтина и Бориса Фирсова. М.: Новое литературное обозрение.
- Lovell, Stephen. 2015. *Russia in the Microphone Age: A History of Soviet Radio, 1919–1970*. New York: Oxford University Press.